

ВЫСОКОГО НЕБА, СЫНОК!

Одетый в противоперегрузочный костюм, полковник Вербин стоял возле своего ракетноносца, сверкавшего в утренних, бархатно-мягких лучах солнца, и невольно любовался совершенством этой машины с резко откинутыми назад косыми крыльями. Реактивный, суперзвуковой, стратосферный, всепогодный!

«Хороша машина,— с удовлетворением отметил Иван Алексеевич.— Скорость, высота, маневренность — все при ней. Таким истребителем могут управлять только асы».

Вчера вечером, часу в девятом, он имел довольно приятную беседу с генералом. Тот намекал — разговор шел по телефону,— что он, Вербин, имеет все шансы вывести свою часть в передовые.

Да, приятная беседа была.

И вдруг после такого обнадеживающего разговора — звонок Трифонова:

— Что делать с лейтенантом Головиным?..

В самом деле, что? То «недомаз», видите ли, то «промаз». Все невпопад, как будто не для него выложено посадочное «Г».

— Вот тебе и приятная беседа,— иронически проговорил вслух полковник,— вот тебе и шансы. Что ж, надо лететь, коли Трифонов в затруднении.

Вербин мог бы поручить разобраться с этим делом своему заместителю, однако он непременно хотел сделать это сам: и предлог обоснованный — командир эскадрильи Трифонов просит помочь, и лишний раз самому слетать можно.

Иван Алексеевич сел в кабину и запустил силовую установку. С секунды на секунду могучая турбина все больше набирала разгон, и когда подошла пора довести ее обороты до нужного предела, из реактивного сопла вырвался такой высокий и мощный дискант, будто из тесного загона вымахал на волю возбужденный косяк степных скакунов. Под напором газовой струи пало ниц курчавое разнотравье за недалёким краем бетонки, в удивлении качнулись тополя-великаны на дорожной обочине, в перепляс пошли золотоголовые подсолнухи на широком полевым угоне.

Через несколько секунд самолет стартовал. И теперь, когда он был весь — воплощение гигантской машины, нацеленной ввысь, на выхлопе за ним бежало маленькое солнце

реактивного свечения. Но вот потускнело и утонуло в синем мареве это маленькое солнце, и машина неудержимой молнией рассекала атмосферу, выломилась в зенит и, проскочив «через звук», обрушила на землю громовую волну.

Ох, как люб этот неповторимый момент Ивану Алексеевичу! Преодолевая звуковой барьер, он, несмотря на довольно чувствительную силу ускорения, с медвежьей натугой прижимавшую его к спинке кресла, чувствовал себя властелином над слепой стихией природы.

Кабина самолета — своеобразная лаборатория, до предела насыщенная сложными приборами, аппаратурой, арматурными блоками. Командиру экипажа на такой машине приходится быть не только летчиком, но и штурманом, радиостом, оператором, бортинженером...

Наступила минута, когда Вербин начал ощущать безраздельную слитность с машиной — она подчинялась его малейшему движению, а он, в свою очередь, чутко реагировал на все ее эволюции.

Все внимание — приборам: земли не видно, она внизу, на десять тысяч метров. Приборы — верные друзья и помощники. Вся надежда и опора только на них. Нельзя доверяться личным ощущениям, ибо порой их подменяют иллюзии, ложное восприятие действительности. Вербину знакомо это: ты летишь по горизонту, а тебе кажется, что самолет накренен; машина идет под углом к горизонту, а ты совершенно не замечаешь крена...

Все спокойно — и сердце, и мысль. Деловому, рабочему спокойствию одинаково чужды суетность и расслабленность. Иван Алексеевич любит вот такое состояние: состязаясь с природой, человек вырывает у нее еще один секрет — тайну сверхзвукового летания. Вербин даже склонен думать, что успехи человеческого прогресса можно оценивать по тому, сколь высоко поднялись земляне по лестнице освоения Вселенной...

«Хороша машина! — снова промелькнула мысль. — А то ли еще будет! Летательные аппараты уже штурмуют космос, черт возьми! Самому-то мне вряд ли уже придется изведать космические просторы, а вот сверстникам Головина непременно придется. Ах, Головин, Головин, что же у тебя там не получается?» — подумал Вербин о предстоящей встрече с лейтенантом.

Стрелка прибора показывала скорость в два раза больше звуковой, а турбина все увеличивала тягу. Но переходить на максимальный режим Иван Алексеевич не хотел, да и неза-

чем это было делать. Стабилизировав биение «стального сердца» машины, он добился устойчивого полета по горизонтали.

Чем ближе было до аэродрома, тем больше одолевали полковника земные заботы. Будучи опытным человеком, вдумчивым педагогом и психологом, он всегда, анализируя недостатки и ошибки в технике пилотирования, прежде всего стремился установить, по какой причине летчик допустил промах — по халатности или по неумению. И прежде чем принять решение, глубоко разбирался в происшедшем.

Халатности Вербин не терпел и строго взыскивал с виновных.

«А скажите-ка мне, голубчик, — обычно спрашивал он, — чем бы все это могло кончиться, ежели случилось бы такое в боевой обстановке? Не воевали, не знаете? А я воевал и знаю. — Тут же рассказав историю, аналогичную той, из-за которой разгорелся сыр-бор, полковник делал вывод о виновнике оплошности и выносил безапелляционный приговор: — Не могу считать вас в числе людей, готовых к выполнению боевого задания. Не могу. А взыскание сниму после того, как изменю о вас мнение».

За недоученность Вербин спрашивал не с летчика, а с его непосредственного начальника. Но иногда бывают такие случаи, когда причины, приведшие к ошибке, не очень ясны и спросить не с кого, и тогда Иван Алексеевич сам умышленно повторяет ошибку, допущенную кем-либо из офицеров, ищет и в конце концов находит способ ее предотвращения.

Как-то один из летчиков поднялся наперехват контрольной цели, находившейся за облаками. Офицера этого все в части знали как отличного пилота. И ни у кого не было и тени сомнения в том, что он не выполнит задание.

Самолет достиг заданного района и, сверкнув на солнце красивой серебристой рыбиной, нырнул в облачный омут, чтобы пробить его и оказаться над верхней кромкой, где шла цель. Однако внезапного маневра не получилось. Слой облаков был значительно толще, чем предполагал летчик...

Облака — штука серьезная, полет в них труден, а преодоление зрительных иллюзий требует не только известного багажа теории, но и высокого самообладания, выдержки, чтобы в критических условиях не потерять способности трезво оценивать обстановку. Вот почему Вербин, выслушав объяс-

нение летчика и резюме его командиров, в том числе и штурмана командного пункта, все же не был удовлетворен и лично сам решил совершить полет вне видимости земли — в мощном слое облаков.

Направляясь в эскадрилью Николая Ивановича Трифонова, Вербин уже был готов к педагогическому и исследовательскому приему — выполнить заход и расчет на посадку со всеми наиболее характерными отклонениями, известными ему из летной практики, чтобы найти причину той единственной ошибки, которая является камнем преткновения для лейтенанта Головина.

Андрей Головин был удручен. Никогда не думал он, что уже после училища придется пережить ему такое страшное разочарование: будучи летчиком, не иметь надежды на то, чтобы подняться в воздух на самолете, о котором мечтал с самого раннего детства.

Играют мальчики в Гагарина.
На инкрустированных партах —
Земли разъятой полушария
И галактические карты.

Играют мальчики в грядущее,
В космическое новоселье
И вышибают малодушие
На планетарной карусели.

Корпят романтики за партами
И грезят солнечными стартами...

Стихи. Не до них сейчас Андрею, не до мечты о солнечных стартах. Похудел он, сдал с лица, в глубине глаз запало тоскливое отчаяние. Что делать? Не получается посадка, и все тут. То с недолетом плюхнется машина, то протянет далеко за посадочный знак. Объясняли, как надо делать, показывали, ругали — ничего не помогает. Друзья и те не на шутку встревожились. Осталась надежда только на Вербина. Больше никто не станет заниматься лейтенантом. За ним последнее слово, за полковником.

Иван Алексеевич часто бывал на эскадрильских полетах, однако Головину до сих пор не приходилось не то что летать с ним на спарке, но даже и разговаривать один на один. Хотя и доступен, прост в обращении полковник, да все не для рядового летчика. Вот прилетит сейчас, спросит у Три-

фонова о его, головинских «неисправимых» ошибках и скажет: «Не могу считать вас в числе людей, способных овладеть новой техникой...» И прощай тогда мечта о солнечных стартах. Всего одна полковничья фраза — и нет летчика Головина.

А как мечталось о небе! С самых мальчишеских лет мечталось.

Когда-то, взобравшись на крышу,
Он думал, что высь близка,
Но небо отпрянуло выше,
За тонкие облака...

Прошла, торопясь, вереница
Мальчишеских лет. И вот
Его голубые петлицы
Торопят, зовут в полет.

У каждого в сердце запело,
Случись такое с любимым,—
Над крыльями небо висело
Полотнищем голубым.

Казалось, еще бы немного
Подняться на высоту,
И — вот она! — можно потрогать
Свою ребячью мечту!

Но купол неба безбрежного
Куда-то вдалеку отступал
И недоступный по-прежнему
Все выше и выше звал...

Любил спорить Андрей с друзьями о головокружительных перспективах, мечтал полетать на всех новейших машинах, да и о космосе тоже подумывал. И вот все его мечты лопаются теперь, как мыльный пузырь, — есть отчего прийти в отчаяние...

Высокий, подтянутый, вылез Иван Алексеевич из машины, поздоровался с офицерами и огляделся, отыскивая кого-то. Ему был нужен отстраненный от полетов «до особого распоряжения» лейтенант Головин. И он увидел его. Тот стоял поодаль от всех, рядом со своей машиной, на которой ему теперь летать было заказано. Полковник что-то сказал командиру эскадрильи Трифонову и направился к летчику крупным неторопливым шагом.

— Скажи-ка, голубчик, чем все это могло кончиться,

ежели случилось бы такое в боевой обстановке?— без всяких обиняков спросил он.

— Я, товарищ полковник, не воевал,— как бы оправдываясь за свою молодость, ответил Андрей,— не знаю.

— Хорошо, что не успели на войну. Там, случалось, и убивали... А знать опыт старших, товарищ командир экипажа, все-таки надо.

Вербин положил руку на плечо лейтенанта и зашагал от машины, продолжая разговор. Потом они сели на траву.

— Курите?— спросил Иван Алексеевич.

Головин покачал головой.

— А я на фронте начал,— полковник глубоко затянулся табачным дымом и на какое-то время погрузился в раздумье. Может, вспоминал о войне, может, размышлял о чем-то другом.— М-да... Так вот, я и говорю: хорошо, что не успели... Страшная эта штука— война. И чтоб она, проклятая, не повторилась, враги наши должны знать, что мы сумеем дать им в случае чего надежный отпор. Знаете, песня такая была в свое время:

Нас не трогай — мы не тронем,
А затронешь — спуску не дадим!

Андрей слушал молча и старался не смотреть полковнику в глаза — ему было стыдно за свое прежнее суждение о Вербине: «Хотя и доступен, прост в обращении полковник, да все не для рядового летчика». А выходит, и для рядового доступен: лежит вот рядом на траве, вместо того чтобы сидеть в кабинете Трифонова; курить предлагает и даже старую песню вспомнил.

— Выучка. Умение...— продолжал Иван Алексеевич.— Как эти великолепные качества помогли летчикам-фронтовикам! Представьте себе: перелетает полк ближе к линии фронта, а садиться нельзя — аэродром разбит. Что делать? Приземляться-то непременно надо, хотя бы на самую обыкновенную шоссейку. Или такая ситуация: грунтовой аэродром развезло во время дождей. Как тут быть? А вот как, лейтенант,— соорудить деревянный настил — и по нему в небо. А то и так бывало: прилетишь в горы, кружишь, кружишь, да и сядешь на какой-нибудь пятачок. Не падать же замертво в пропасть... Тут, брат, расчет нужен точный,— полковник затушил окурок, прищурился и щелчком послал его в репейник. Репейник с лету нанизал окурок на колючку и закачался.

Головин засмеялся. И Вербин тоже. Потом снова наступило молчание, и каждый думал о своем: Иван Алексеевич — о лейтенанте, отстраненном от полетов, о его завтрашнем дне, Головин — о полковнике, о его соратниках, об их фронтовой молодости. И виделись ему картины взлетов по узкому бревенчатому настилу и посадок на пятачке, зажатою острыми пиками скал. И недолет — гибель, и перелет — тоже, влево отклонишься — костей не соберешь, а вправо — хоть и соберут твои кости, так тебе уже тогда все равно. Вот как они летали! Вот почему Вербин говорит о выучке и умении, об изучении фронтового опыта. И когда Головин уже был готов обрушить на себя град упреков за «недомазы» и «промазы», Иван Алексеевич доверительно сказал:

— А знаете, лейтенант, я ведь тоже однажды дров наломал на посадке.

То ли от такого душевного разговора, то ли оттого, что и солнце не без пятен, на душе Андрея стало вроде бы легче.

— Наломал-ал,— крутнув головой, с запозданием повторил Вербин и начал рассказывать, как это произошло:— Мы только-только получили тогда новые самолеты. Не скрою, трудновато приходилось. Сделаешь, бывало, вылетов десять-двенадцать в первую смену, немного отдохнешь и отправляешься в ночную смену. Сроки поджимали, потому и поторапливались, работали сверх всяких норм.— Полковник вздохнул, достал еще одну сигарету, закурил.— Жизнь — мудрый учитель, и во всяком деле желание не должно посягать на границы разумного. Вот и с полетами тоже. Регламент не зря установлен: налетал столько-то — отдохни. Забвение строгого режима дорого обходится. Ни к чему хорошему не привело оно и меня. Однажды, сделав семь полетов днем, я не успел отдохнуть и, понадеявшись на свои силы, вышел в ночную смену. Тринадцать раз поднялся в воздух удачно, а на четырнадцатый дров наломал... На борту со мной был командир звена Логунов. Днем он тоже летал. Мы выполнили задание, и Логунов повел самолет для захода на посадку. Все шло хорошо. На земле уже включили посадочные прожекторы. «Завтра полетишь самостоятельно»,— обнадежил я Логунова по самолетному переговорному устройству. Едва это проговорил, как машина ударилась о землю и поползла на фюзеляже. И тут только я увидел на приборной доске красные лампочки. Мой напарник позабыл выпустить шасси, а я как инструктор не напомнил ему об этом.

Закончил свой рассказ Вербин. И не стал ни выводов де-

дать из него, ни нравоучения читать. Опередив вопрос лейтенанта, сказал:

— Ну, поговорили и ладно. Пойдем теперь к самолету, потренируемся.

Самолет уже стоял на подъемниках в таком положении, в каком он должен находиться перед приземлением. Головин сел в кабину, Вербин встал рядом, на крыло. *

— Какие параметры выдерживаете на глиссаде снижения?

— Вывожу машину из четвертого разворота на высоте триста метров при скорости четыреста—четыреста двадцать километров в час.

— Так. С каким углом производите снижение?

— Немногим более четырех градусов.

— Правильно. Обороты?

Андрей ответил. Знал он и как производится подход к началу выравнивания. «В чем же дело?— недоумевал Вербин.— Все по инструкции, а точной посадки, говорят, не получается. Может, неправильно ориентируется на последнем этапе выравнивания?»

— А скажите-ка, куда вы смотрите, вернее, как смотрите на посадке?

Летчик рассказал и провел мысленную ось направления визуального слежения.

— Фьи!— присвистнул полковник.— Теперь понятна твоя беда. Не так, не так надо... Пусти-ка меня в кабину.

Андрей вылез на крыло. Он был весь внимание: в эти минуты решалась его судьба.

— Вот как надо, смотри: пятнадцать-двадцать градусов влево на удаление сорока метров,— и полковник показал рукой направление линии слежения.— Понятно?

— Понятно.

— Садись и тренируйся, намечивай глаз. За ориентир бери вон то пятно. Видишь?

Увлечшись, Вербин не заметил ни своего свиста, услышав который, Андрей воспрянул духом, ни перехода в обращении с лейтенантом на «ты», ни радостного возбуждения, вызванного неожиданно скорой находкой ошибки.

— Капитан!— позвал он Трифонова.— Посмотри для верности, не рано ли свистим?

Оказалось, что нет, не рано. Комэск подтвердил вербинский диагноз «недомазов» и «промазов» лейтенанта, хотя и чувствовал себя перед старшим начальником сконфуженно: не догадался сам в статическом положении самолета

проверить глазомер летчика. Проверил в динамическом только, на основе чего и запретил летать Головину. Одним словом, сконфуженно чувствовал себя Трифонов. Вербин догадался о его состоянии и незло подумал: «Ну и пусть конфузится, зато делу польза».

— Спарку дашь?— спросил Иван Алексеевич.

Видно, что-то еще не до конца сработало в Трифонове, что-то противилось вопреки логике, а может, обидно стало, что, занимаясь с лейтенантом, Вербин как бы не доверял педагогическим способностям Трифонова. Так или иначе, а с ответом комэск задержался, и Вербин вынужден был повторить свой вопрос. Как не дать: просьба полковника, считай, приказ!

День воскресения Головина как летчика продолжался. Андрею казалось, что люди стали добрее, солнце ярче, земля и все сущее на ней краше. Вербин, махнув рукой на то, что о нем могут подумать или думают не так, как хотелось бы, сделал вылет с лейтенантом на машине с двойным управлением. Во время выравнивания снова напомнил командиру экипажа: «Смотри, как надо». Самолет приземлился точно у посадочного знака.

Потом полковник доверил управление Андрею. И не раскаялся в этом: он тоже притер машину у самого «Т».

Поразительно, что никто, кроме самого Андрея, не удивлялся, хотя еще утром многие не верили в неисправимого «Недомаза Промазыча», как в шутку называли друзья Головина. Впрочем, был один человек, терзаемый сомнениями в отношении столь быстрой метаморфозы летчика. Он, этот человек, и отказал дать для Андрея боевой самолет.

— Лучше повременить, товарищ полковник.

Вербин мог приказать Трифонову, но голос разума остановил его от этого волевого акта: сам же только что рассказывал командиру экипажа о следствии своего переутомления...

Вербин остался на старте. Присутствовал на полетах. Вечером он долго беседовал с капитаном, с командирами звеньев; посмотрел летные документы. Уснул, успокоенный: у Трифонова не было людей, неготовых к выполнению любого полетного задания, и его не мучила совесть... Правда, с Головиным вот закавыка, но он тоже, считай, теперь в строю.

Утром полковник не полетел с лейтенантом. Чувство такта обязывало предложить Трифонову самому решить вопрос

о выборе летчика-инструктора для Головина. Капитан приказал выполнить контрольный полет с лейтенантом командиру звена. Потом сам слетал, проверил. И только после этого доверил Андрею боевую машину.

Вербин беспрерывно курил, пока летчик вырубивал на старт, взлетал, шел по кругу и садился. А когда истребитель коснулся колесами основного шасси бетонки у широких полотнищ посадочного знака, полковник затушил окурок, с удовлетворением потер руки и, выразительно посмотрев на командира эскадрильи, сказал:

— Считаю, что действие приказа «до особого распоряжения...» кончилось.

Николай Иванович Трифонов впервые за эти два дня улыбнулся.

Пожимая Андрею руку, Вербин сказал:

— Высокого неба тебе, сынок!

И пока машина Ивана Алексеевича просматривалась в манящей, зазывной дали, Андрей все стоял недвижно и влюбленными глазами провожал ее.

А где она, граница та,
Что в емком слове «высота» —
Над головою, крышей ли,
Под облаками, выше ли?
За Марсом ли, Венерою?
Какою мерить мерою
Высоты мира Млечности
В межзвездной бесконечности?
Гадать мне вовсе незачем:
Пути землян и звездичей
Сойдутся. Но за той чертой
Им грезить новой высотой.

Орленок, возвращенный небу, снова мечтал о солнечных стартах.